

A dramatic movie poster featuring a man in a dark military uniform with gold buttons standing behind a woman in a long, flowing white dress. They are positioned on a grassy hill under a dark, cloudy sky. The woman's hair is blowing in the wind. The overall mood is somber and romantic.

Анастасия Белецкая

Цветок Валерианы

18+

Анастасия Белецкая

Цветок Валерианы

<https://litres.ru/73918733>

SelfPub; 2026

Аннотация

Она была трофеем. Дочь казнённого герцога, отданная генералу Республики как военная добыча. Он был палачом. Бывший раб, поднявшийся из грязи, чтобы стать оружием в руках нового режима. Их брак — политический жест, их дом — гниющее поместье, где каждая трещина в штукатурке кричит о пережитой трагедии. Но когда среди пепла и ненависти вспыхивает искра, когда старые шрамы начинают болеть не от ран, а от нежности, — обоим придётся решить, что страшнее: верить врагу или остаться в холоде навсегда.

Тёмный, чувственный роман о любви на руинах империи, о силе памяти и о выборе между долгом и сердцем.

Содержание

Глава 1. Мальчик, который разрезал лужи	4
Глава 2. Женщина в треснувшем зеркале	17
Глава 3. Мужчина, не хлопающий дверью	27
Глава 4. Бог, которому не строят храмов. Часть 1	37
Глава 4. Бог, которому не строят храмов. Часть 2	47
Глава 5. Нить.	60
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Анастасия Белецкая

Цветок Валерианы

Глава 1. Мальчик, который разрезал лужи

Молочной дымкой пар поднимался над чёрным асфальтом Эренталя. Солнце, что только-только пробилось из-за облаков, совершенно не грело и, по правде сказать, напоминало не огненный шар, а тусклый медный таз, который кто-то в качестве злой шутки приколотил к небу. Послеполуденный дождь конца лета только что отступил, оставив улицы республиканской столицы блестящими, скользкими и наполненными гулом пробуждающегося города.

Разрезая лужи, весёлый мальчишка вылетел из-за кирпичного угла на своём ржавом велосипеде так, что грязная вода вздымалась двумя крыльями за его спиной. В этот момент ему казалось, что он может взлететь подобно птице и улететь, куда желает. Вот только в свои восемь лет он ещё не понимал, что иногда даже самая высокая скорость не подарит ему свободы, особенно если прутья птичьей клетки будут столь крепки, как новый мир, рождённый на пепелище бывшей Империи.

Переднее колесо прошло очередную лужу, и брызги, разлетевшиеся веером, осели на мокрой брусчатке тёмными кляксами. Мальчик пригнулся к рулю. Ветер охлаждал щёки, трепал выбившиеся из-под кепки волосы. Он не замечал ни сырости, ни холода, ни тяжёлого взгляда города, нависавшего над ним со всех сторон. А его щербатая улыбка, кажется, светила ярче любого медного солнца.

Вокруг было тихо, не считая гула марширующих солдат вдалеке. Улицы наполнял лишь ритмичный стук сумки с корреспонденцией, висевшей на плече мальчика. Она хлопала по бедру в такт педалям. Кожаный клапан намок, но, к счастью, внутри письма оставались сухими — мальчишка проверил это, когда натягивал ремень потуже. В его голове всё ещё звучал грозный наказ матери: «Доставь письма быстро, Тимми, и не отвлекайся. И не глазей по сторонам!». Но задача была изначально невыполнимой, ведь Эренталь сегодня был слишком необычным, чтобы не глазеть.

Город потихоньку наряжали. Поперёк проспекта Вестника, главной артерии столицы, уже натянули транспаранты из кумачовой ткани — ярко-красные, режущие глаз на фоне серого неба и серого камня. «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВЫЙ СЪЕЗД РАБОЧЕЙ ПАРТИИ!» — кричали буквы, выведенные чёрной краской. Влажная ткань хлопала на ветру, как выстиранное бельё, которое ещё недавно тут высушивали люди во время гражданской войны. Кое-где рабочие на лестницах ещё крепили флаги — красно-чёрные полотнища,

символ Республики. Тимми знал этот флаг. Он висел у них в поместье. Он висел везде.

Мальчик проехал мимо постамента, где раньше стоял памятник последнему императору. Теперь на гранитном кубе высилась абстрактная фигура «Освобождённого Человека» — угловатая стальная конструкция, напоминавшая по задумке автора одновременно рабочего с молотом и солдата с винтовкой. Но издали она была похожа просто на ржавые рёбра, торчащие во все стороны и протыкающие небо, воздух, город. Хоть Тимми всю жизнь прожил в доме бывшего герцога, он не понимал скульптур. Детская душа лишь чувствовала то, что от статуи веет холодом, даже когда выглядывает солнце.

Велосипед вильнул, объезжая груду мокрых листовок, прилипших к брусчатке. Бумага успела размокнуть, красная типографская краска потекла, и теперь под колёсами расплывалось что-то похожее на кровавую кашу. Тимми нажал на педали сильнее, не оглядываясь, хотя от вида красной краски на асфальте у него по спине побежали мурашки. Мама всегда говорила, что это плохой знак. В конце проспекта уже виднелась громада Эрентальского вокзала — мрачного каменного здания, чьи часы-башни теперь вечно показывали одно и то же время 11:48. Главные ворота были задрапированы гирляндами из хвои и красных лент. У входа толпились люди в шинелях и рабочих кепках. Некоторые держали флажки на коротких древках. Пахло мокрой хвоей, угольной

пылью и сырой шерстью мундиров.

Тимми хотел проехать прямо к вокзалу, чтобы сесть на поезд и сократить дорогу до дома, но путь ему преградил строй марширующих Гончих — те самые солдаты, чьи шаги он слышал еще издалека. Чёрные шинели, начищенные сапоги, красная вышивка на груди. Они шли молча, не глядя по сторонам — ритмичный стук каблуков заглушал всё: и шум города, и ветер, и крики ворон над крышами. Лица у них были одинаковые, будто вытесанные из одного куска серого камня. Тимми притормозил, поставил ногу на мокрый асфальт и стал ждать, пока колонна пройдёт. От их дыхания поднимался жар — тонкий, едва заметный, как от лошадей после долгой скачки.

Пока они маршировали, вокруг успела образоваться толпа. Тимми обратил внимание на то, что никто не улыбался. Люди на тротуарах смотрели на марш Гончих молча. В их глазах не было ни восторга, ни протеста. Только пустая покорность, которую Тимми ещё не научился расшифровывать. Ему же было только восемь лет. Он видел флаги, видел транспаранты, слышал радио на площади — бодрый голос диктора, перечислявший программу Первого съезда. Но атмосфера, повисшая над Эренталем, была не праздничной. Она была гнетущей, как воздух перед грозой, даже когда дождь уже прошёл.

Строй начал удаляться дальше по улице. Поезд отменили из-за проблем с путями на северном направлении, и Тимми

пришлось толкнуть педаль и снова набрать скорость, ныряя в переулок, пропахший мокрым кирпичом и кислыми помоями. Здесь не было флагов. Здесь были только облупленные стены, заколоченные окна и старуха, выжимавшая тряпку над ржавым ведром, так напоминавшим солнце. Она подняла глаза на мальчика, но ничего не сказала. Тимми проехал мимо, разрезая очередную лужу, и брызги разлетелись, окатив подол ее юбки. Старуха не шелохнулась.

Ему оставался последний поворот — за ним начиналась дорога на окраину, к Бальдр-холлу. Именно туда, в старое поместье Северного герцога, он вёз корреспонденцию: письмо с гербовой печатью, которое — Тимми знал это по тихим разговорам взрослых — не следовало доверять обычной почте. Оно было адресовано генералу — новому хозяину Бальдр-холла. Мальчик не знал содержания письма, которое вёз. Хотя ему было и неинтересно. Гораздо интереснее было другое: скорость, лужи, прохлада после дождя и то, как сердце гулко стучит в груди, когда несёшься под горку, отпустив руль на секунду. Всё то, что важно, когда тебе только восемь лет.

Над крышами Эренталья снова стали сгущаться облака. Солнце, тот самый медный таз, ушло за тучи. Город погружался в привычный полумрак. Зажглись первые газовые фонари — электричество ещё не добралось до окраин, и свет был жёлтым, дрожащим, живым. Тимми крутил педали, не оглядываясь. Позади остался праздничный, но зловещий

центр. Впереди темнела аллея, ведущая к Бальдр-холлу, — сырая, заросшая, с глубокими колеями, полными воды.

Но он пока не боялся. Он ехал быстро, и ветер свистел в ушах, заглушая тишину, которая царила за городской чертой.

Велосипедная цепь мерно щёлкала, отсчитывая метры пути. Сумка с письмом продолжала хлопать по бедру. Тимми знал каждый камень на этой дороге и умело их объезжал. Ведь он ехал домой, где ждала мать. А ещё старики Уиллфорды. И служанки Кэти и Мэри, что постоянно тискали его. А ещё молодая госпожа, что теперь не выходит из комнаты. Но а то, что дом этот был холодным и чужим особняком с заколоченными окнами, а мать работала кухаркой на человека, которого все вокруг боялись, — это было для него не страшным, а обычным. Другой жизни Тимми не помнил.

Колесо снова ударило по воде, и на этот раз брызги полетели в сторону, орошая мокрую траву у обочины. Где-то вдалеке загудел паровоз — долгий, тоскливый звук, разносящийся над сырыми полями. Эх, наверное, Тимми мог его дожждаться... Эренталь остался за спиной. Впереди, за поворотом, уже угадывался тёмный силуэт Бальдр-холла на фоне свинцового неба. Тимми нажал на педали сильнее, и велосипед, разрезая последнюю лужу перед аллеей, полетел к дому.

Аллея кончилась, и велосипед, подпрыгнув на корневнице, вылетел на гравийную площадку перед домом. Луж тут не было — только мокрая щёбёнка, хрустевшая под шиной.

ми, как битое стекло. Тимми спрыгнул на ходу, поймал руль и пробежал несколько шагов рядом с велосипедом, прежде чем остановиться. Грудь ходила ходуном, пар вырывался изо рта короткими толчками. Но улыбка — та самая, щербатая — никуда не делась.

Бальдр-холл встретил его молчанием. Двухэтажный особняк высился над мальчиком тёмной глыбой. Дождь ещё не высох на облупленной штукатурке, и фасад казался покрытым испариной — как человек в лихорадке. Два окна из пяти были заколочены досками крест-накрест, и кресты эти отбрасывали на стену тени, похожие на расправленные крылья. Третье окно, на втором этаже, было задёрнуто тяжёлой портьерой. Там, за ней, и сидела она — молодая госпожа, которую Тимми видел теперь только мельком, когда она спускалась к ужину или бродила ночами по коридорам. Он не понимал, почему она больше не выходит в сад и не гладит его по голове, как раньше. Мать объясняла ему, что у леди Маргареты горе. Тимми знал, что такое горе, — это когда плачут. Но госпожа не плакала. Она просто молчала.

— Тимми!

Голос матери ударил из дверного проёма, как пощёчина. Марта стояла на пороге, уперев руки в бока, и фигура её — дородная, надёжная, в заляпанном мукой фартуке — заслоняла собой тусклый свет прихожей.

— Ты чего так долго? Я уж думала, тебя поездом переехало.

— Поезд отменили! — крикнул Тимми и покатил велосипед к чёрному ходу. — Пути на север сломались. Я сам ехал.

— Сам? — Марта шагнула навстречу, схватила его за плечо и, присев, заглянула в лицо. От неё пахло дрожжами, луком и чем-то сладким — кажется, яблочным повидлом, которое она берегла для воскресного пирога. Пальцы у неё были горячие, сильные. — Совсем с ума сошёл, через весь город один? А если б Гончие?

— Они маршировали и даже не смотрели, — ответил Тимми, выворачиваясь. — Я письмо привёз. С гербом. Генералу.

Марта выпрямилась. Лицо её, только что гневное и встревоженное, вдруг стало чужим — замкнутым, как ставни на ночь. Она посмотрела на сумку, хлопавшую по бедру сына, и ничего не сказала. Только вздохнула:

— Ладно. Иди в дом. Руки вымой, и не топай грязными сапогами по ковру — старый Уиллфорд только что вымел холл.

Тимми поставил велосипед к стене пристройки, где ржавые садовые инструменты соседствовали с пустыми цветочными горшками. Мокрые листья каких-то многолетних растений свисали с козырька крыльца, касаясь его щеки. Он отмахнулся и потянул на себя дверь чёрного хода.

Внутри пахло иначе. Здесь, в коридоре для прислуги, запахи были густыми, плотными: варёная картошка, сырое дерево, уксус, которым Марта накануне протирала кухонные

столы, и что-то ещё — то ли воск, то ли старые шторы. Тимми прошмыгнул мимо кухонной двери, откуда доносилось мерное бульканье, свернул в узкий проход и вынырнул в главный холл.

Здесь было холодно. И пусто. И так высоко, что шаги отдавались эхом о потолок, терявшийся где-то в тени второго этажа.

Широкая лестница поднималась от центра холла вверх, разделяясь на две галереи, уходившие к спальням. Перила из тёмного дерева были покрыты резьбой — гирлянды каких-то северных цветов, которые теперь никто не помнил по именам. На стенах ещё оставались светлые прямоугольники — следы от картин, снятых республиканцами. Но в одном месте, над камином, Упрямо висел портрет, который генерал не тронул: мужчина с густой бородой и серыми глазами, глядевший прямо и без страха вместе со своей женой, четырьмя дочерьми и маленьким сыном. Сейчас он был завешан, но Тимми знал, что это бывший герцог. И что его убили. И что госпожа — его дочь. Но связывать эти факты воедино было пока за пределами его восьмилетнего разума. Для него портрет был просто частью дома — как скрипучая половица у двери библиотеки или как старый звонок у парадной двери, в который уже никто никогда не бил.

— Тимми, не стой столбом, — раздался голос от двери столовой.

Экономка, миссис Уиллфорд, стояла, скрестив руки на

груди, и смотрела на мальчика поверх очков. Это была сухая, прямая, как жердь, женщина в глухом сером платье. Её седые волосы были убраны в такой тугий пучок, что казалось, кожа на висках натянута до предела. Голос у неё был резкий, но не злой. Просто металлический, как старый чайник.

— Письмо при тебе?

— При мне, — Тимми похлопал по сумке.

— Ступай к кабинету. Генерала ещё нет, но он будет с минуты на минуту. Положи на стол и сразу на кухню. Не задерживайся. Он не любит, когда дети вертятся под ногами.

Последние слова она произнесла тише, словно для себя. И в тоне её Тимми уловил не страх даже — скорее осторожность, с какой смотрят на спящего волка.

Он прошёл через холл, стараясь ступать по ковру тихо. Ковёр был старый, персидский, истёртый до основы во многих местах. Под ним скрипели половицы — те самые, знакомые до каждого звука. Тимми знал, что третья доска от правого угла скрипит громче всех, а пятая, наоборот, отзывается глухо, как пустой гроб. Сегодня он не хотел шуметь.

Кабинет генерала был приоткрыт. Тимми сунул голову в щель. Внутри было сумеречно. На столе — командирский планшет, стопка бумаг, керосиновая лампа, которую генерал почему-то не зажигал, предпочитая работать в полумраке. Мебель была казённая, грубая, принесённая сюда явно после революции. Единственным напоминанием о прежних хозяевах оставался письменный прибор — бронзовый ворон с

расправленными крыльями, державший в лапах чернильницу. Генерал не выкинул его. То ли не заметил, то ли оставил намеренно.

Тимми положил письмо на край стола — туда, где лежали остальные депеши. Конверт с гербовой печатью лёг поверх бумаг, и мальчик на секунду задержал дыхание. Ему показалось, что ворон с чернильницы смотрит на него живым глазом. Но это была лишь игра света.

Он выскользнул обратно в холл и уже собирался бежать на кухню, когда услышал шаги. Совсем другие. Не шаркающие, как у Уиллфордов, и не мягкие, как у служанок. Тяжёлые. Ритмичные. Шаги человека, который привык маршировать по мостовой, а не ступать по паркету.

Дверь главного входа распахнулась.

В холл вошёл генерал.

Мортен Астрид не вошёл — он заполнил собой пространство, как вода заполняет треснувший кувшин. Воздух стал гуще. Холоднее. Казалось, даже пламя в камине присело ниже. Он был в уставной форме — чёрная шинель, портупья, начищенные до зеркального блеска сапоги, с которых ещё не сошла грязь городских улиц. Пилотку он снял и держал в руке, обнажив зачесанные назад тёмные волосы. Лицо — жёсткое, с преждевременными складками у рта, с тяжёлой челюстью и взглядом, который не обещал ничего хорошего. Карие глаза, тёмные как уголь, скользнули по холлу и на долю секунды задержались на мальчике.

Тимми замер.

Он не боялся генерала в привычном смысле слова. Генерал никогда его не бил, не кричал, даже не делал замечаний. Но всё внутри мальчика сжималось при виде этого человека. Словно сама его фигура излучала сигнал: «Я опасен, отойди». Запах от генерала исходил соответствующий: машинное масло, сырая шерсть, металл, угольная пыль. Ни капли тепла. Ни капли дома.

— Ты что здесь делаешь? — спросил Мортен. Голос у него был низкий, с хрипотцой — словно кто-то провёл напильником по металлу.

— Письмо привёз, — пробормотал Тимми, не узнав собственный голос. — Из города. С гербом. Оно в кабинете, на столе.

Генерал кивнул. Едва заметно. Затем развернулся и, не снимая шинели, направился к лестнице. Сапоги его оставляли на истёртом ковре мокрые отпечатки — следы человека, который пришёл снаружи и ещё не успел стать частью этого дома. А может, никогда не станет.

На первой ступени он остановился. Тимми видел, как генерал поднял голову и посмотрел вверх — туда, где дверь в комнату молодой госпожи была закрыта. Пауза длилась два удара сердца. Три.

Затем Мортен продолжил подъём.

Тимми выдохнул и, не дожидаясь, пока генерал передумает, метнулся в сторону кухни. Дверь за ним закрылась. Холл

снова опустел. Только камин продолжал шептать горящими поленьями да портрет герцога всё так же смотрел в пустоту, не видя ничего.

И где-то наверху, в своей комнате, Марго Валерианн услышала шаги в коридоре — и стиснула зубы, ожидая, что они пройдут мимо. Но они остановились напротив её двери. И тишина, наступившая после этого, была страшнее любого звука.

Глава 2. Женщина в треснувшем зеркале

Комната Марго умирала медленно.

Не так, как умирают люди — с криком, с кровью, с последним вздохом. Комнаты умирают иначе: слоями. Сначала из них уходит смех, потом свет, потом тепло. Остаётся только скорлупа — стены, мебель, зеркало. Особенно зеркало.

Оно стояло в углу, у окна, задрапированного тяжёлой портьерой цвета запёкшейся крови. Этот цвет теперь был ей отвратителен, как и всё, что было связано с режимом новой Республики. Но зеркало... Зеркало — нет. Оно было старое, в резной раме из тёмного дерева, с едва заметной трещиной в левом нижнем углу — след давней детской шалости. Софи когда-то запустила в неё щёткой для волос, когда они ссорились из-за очереди перед балом. Трещина осталась. Софи — нет.

Марго сидела перед зеркалом на стуле с продавленным сиденьем и смотрела в собственное лицо. Смотрела долго. Так смотрят на незнакомца на светском чаепитии — без интереса, без узнавания, просто потому что взгляду нужно куда-то деться. Точнее, смотрели. Теперь чаепития были под запретом.

Так из зеркала на неё глядела женщина, которую она не

помнила.

Волосы, каштановые, всё ещё длинные и когда-то ухоженные, лежали на плечах тусклой волной. И лицо... Лицо осунулось. Скулы проступили резче, чем должны были. Губы потрескались — Марго не замечала, что забывает пить воду. Под глазами залегли тени, синеватые, глубокие, как старые раны. Глаза, зелёные, фамильные, материнские, смотрели из зеркала с выражением, которое она не выбирала и не контролировала. Это было не горе. Горе — горячее, мокрое, оно рвётся наружу слезами или криком. Оно уже прошло. То, что смотрело на неё сейчас, было сухим. Холодным. Мёртвым. Как и её семья.

Она подняла руку и коснулась щеки. Женщина в зеркале сделала то же самое. Пальцы ощутили кожу — шершавую, обветренную, хотя Марго не выходила из дома уже несколько недель. Или месяцев? Она сбилась со счёта. Время в этой комнате текло не так, как в остальном мире. Оно сворачивалось кольцами, как ржавая пружина, и душило.

За дверью, внизу, шла жизнь. Она слышала её обрывками: голос Марты, гремевшей кастрюлями на кухне; ворчание старого Уиллфорда, который снова спорил с женой о том, стоит ли зажигать камин в столовой, когда дров осталось на две недели; смех Тимми — быстрый, как птичий щебет, обрывающийся на полуслове, когда мать одёргивала его. А она сидела здесь, в четырёх стенах, которые когда-то были её детской, а теперь стали склепом.

Воздух в комнате был спёртым. Пахло пылью и старым деревом. И ещё — едва уловимо — духами. Мамиными духами с запахом ванили. Они въелись в портьеры, в обивку кресел, в подушки, которые Марго отказывалась менять. Иногда, просыпаясь среди ночи, она ловила этот запах — и на секунду, на одну мучительную секунду, ей казалось, что мать здесь. Что она сейчас войдёт, сядет рядом, поправит ей волосы и скажет: «Маргарета, наша маленькая птичка, по чему ты опять тоскуешь?».

Но дверь не открывалась. И мать не входила. И запах был всего лишь болезненным навождением — как и всё остальное.

Марго опустила руку. Пальцы соскользнули со щеки и легли на колени, где лежала старая лента для волос. Розовая, выцветшая. Её носила Пенелопа. Марго нашла её под кроватью три недели назад и с тех пор не выпускала из рук — разве что на ночь, но даже тогда клала под подушку, как реликвию.

Тишина в комнате сгустилась. А потом — раскололась. Это началось без предупреждения. Так всегда начиналось. Просто вдруг тишина становилась громче, воздух — плотнее, и где-то в затылке, в том месте, где позвоночник встречается с черепом, вспыхивала искра. А за ней — очередь.

Топот сапог по мраморному полу.

Они пришли ночью. Или рано утром? Марго не помнила времени. Она помнила только грохот — входную дверь вы-

били, и тяжёлая створка ударилась о стену с таким звуком, будто дом закричал. Потом топот. Десятки ног в солдатских сапогах. Они текли по коридорам, заполняли комнаты, выдавливали воздух из каждой щели. Гончие. Тогда их ещё не называли Гончими, но униформа была та же: чёрное, красное, стальное.

Крик Софи.

Софи кричала не от боли. От ярости. Она вырывалась из рук солдат, которые тащили её по коридору, и кричала что-то им в лицо — что именно, Марго не разобрала за собственным сердцем, колотившимся в ушах. Но голос сестры она узнала бы из тысячи. И этот голос, высокий, звонкий, полный бешенства, вдруг оборвался — не потому, что она замолчала, а потому, что дверь за ней закрылась. И наступила тишина.

Рука матери на её щеке.

Мать обхватила её лицо обеими ладонями. Горячие ладони. Сухие. Амелия никогда не плакала при детях — даже тогда. Зелёные глаза смотрели прямо в душу. «Марго, посмотри на меня. Ты — старшая. Ты помнишь? Ты — старшая. Что бы ни случилось, ты должна выстоять». Она кивнула. Она пообещала. А потом мать увели, и ладони исчезли, и на щеках остался холод — такой быстрый, будто само тепло было украдено.

Маленькая рука в её руке.

Седрик. Он не понимал, что происходит. Ему было во-

семь, как и Тимми. Он прижимался к её боку и спрашивал шёпотом: «Марго, а папа накажет этих людей?» Она не ответила. Она сжимала его пальцы и молилась — кому? Тогда она еще не верила в богов. Но в тот момент она молилась всем, кого могла вообразить, чтобы брата оставили с ней. Чтобы не разлучали. Чтобы...

Солдат вырвал Седрика из её рук одним грубым, равнодушным движением, как вырывают мешок с почтой из чужих пальцев. Мальчик даже не закричал. Он просто посмотрел на неё серыми, отцовскими глазами, и в них отразилось глубокое, совсем не детское понимание. И этот взгляд был страшнее любого крика. Потому что он вдруг понял, что его ведут на смерть. И Марго это поняла.

Щелчок затвора.

Она не слышала выстрелов. Казнили не в доме — их вывезли за город, к оврагам, которые потом станут братскими могилами для всей аристократии Республики. Но её воображение дорисовало то, чего не видели глаза. Щелчок затвора. Пауза. Команда. Залп. И тело отца, падающее на мёрзлую землю. Тело матери — рядом. Сёстры, одна за другой. Седрик. Маленький Седрик, который не успел вырасти. И глаза. Острые, как лезвия, глаза человека, с которым она теперь была связана перед богом. Глаза Мортена Астрида.

Марго не видела казни. Но память услужливо проигрывала её снова и снова. И каждый раз — с новыми деталями. То она представляла, как подрагивает дуло винтовки. То, как

хрустит гравий под солдатскими подошвами, пока они перешагивают через тела. То, как чья-то рука, может, Агнес, может, Пенелопы, ещё дёргается в последней судороге на краю рва. Воображение было её палачом. Оно не давало ей забыть. Оно делало её свидетельницей того, чего она не видела. Соучастницей. Потому что она выжила. А они — нет.

Почему?

Вот что возвращалось каждый раз после автоматных очередей. Не горе, не гнев. Вопрос. Он всплывал из глубины, как утопленник, и стучался в стенки черепа: почему она? Почему её оставили в живых? Полковник Рэдклифф, глава Республики, приказал уничтожить весь род. Весь. Под корень. Но её не тронули. Её отдали генералу. Как трофеей. Как вещь. Как...

Она не знала ответа. Но знала, что ответ есть. И это знание — или предчувствие знания — было единственным, что держало её на плаву. Не надежда. Долг. Она должна узнать. Должна дожить до ответа. Должна выстоять, как обещала матери.

Марго подняла глаза и снова встретила взглядом с женщиной в зеркале. Теперь в этом лице появилось что-то новое. Не искра — искры не было. Но уголёк. Тлеющий, едва живой, спрятанный глубоко под пеплом. Она не узнала себя. Но узнала это. Это была злость. Та самая, которую Софи не успела докричать до конца.

За дверью раздались шаги.

Тяжёлые. Ритмичные. Чужие.

Марго замерла. Пальцы сжали ленту Пенелопы. Шаги приближались по коридору, и эти шаги не были шаркающие, как у старого Уиллфорда, не были торопливые, как у Кэти. Эти шаги принадлежали человеку, который привык ходить строем. Который носил сапоги, начищенные до зеркального блеска, и не считал нужным ступать тихо, потому что тишина — для слабых. И которые теперь Марго знала слишком хорошо.

Шаги остановились напротив её двери.

Марго не дышала. Она смотрела на отражение дверной ручки в зеркале. Ручка не двигалась. Тишина длилась удар сердца. Два. Три.

А потом шаги раздались снова — но теперь они удалялись. Генерал пошёл дальше по коридору, к своему кабинету.

Марго выдохнула. Медленно. Бесшумно. И только теперь заметила, что всё это время сжимала ленту так сильно, что на ладони остался красный след. След от ткани. След от памяти.

Она разжала пальцы. Расправила ленту. Посмотрела на неё так долго, будто розовый шёлк мог что-то ответить.

А потом Марго сделала то, что долгое время не делала. Она встала. И подошла к окну. И отодвинула портьеру — самую малость, на ширину ладони, — и выглянула наружу.

Мир за мутным стеклом был серым. Дождь только что кончился, но небо оставалось свинцовым, низким, тяжёлым.

Мокрая аллея вела от ворот к дому. На гравии стояли лужи — тёмные пропасти, отражавшие такое же темное небо. У крыльца, привалившись к стене, мок старый велосипед.

Марго долго смотрела на этот велосипед. И думала о том, что мальчик, которому он принадлежал и который был лучшим другом ее младшего брата, не виноват в том, что его мир построен на костях её семьи. Но и она не была виновата, как бы тяжело ей ни было это признавать. Никто не был виноват.

Никто, кроме ее мужа — генерала Мортена Астрида.

Марго резко задёрнула штору, и комната снова погрузилась в полумрак. Она вернулась к зеркалу, села на стул, взяла щётку для волос. Провела по волосам раз. Два. Три. Механически. Как кукла, которую завели ключом. Это не было возвращением к жизни. Но это было движением. А движение — уже что-то.

В дверь тихо постучали.

— Леди Маргарета? — голос Мэри был тихий, как шелест бумаги. — Я принесла чай. Госпожа Марта сказала, вы опять не спускались к завтраку.

Марго открыла рот, чтобы ответить, но голос не слушался от невыплаканных слез. Она прочистила горло.

— Войди.

Дверь приоткрылась. На пороге стояла Мэри — тонкая тень в сером платье служанки, с подносом в руках. Она не смотрела на Марго прямо. Она всегда смотрела чуть в сто-

рону — привычка, выработанная годами страха за пределами поместья. Но в её молчании было больше тепла, чем в иных словах.

Мэри поставила поднос на туалетный столик. Рядом с лентой. Рядом со щёткой. Пар от чая поднимался тонкой струйкой, и в этом паре было что-то живое.

— Генерал вернулся, — сказала Мэри тихо. — Он в кабинете.

Марго кивнула. Ничего не ответила.

Мэри помедлила, будто хотела добавить что-то ещё, но не решилась. Сделав шаг назад, служанка возвращалась к двери. И только на пороге она обернулась:

— Леди Маргарета... вы бы вышли. Хотя бы в сад. Дождь кончился.

Марго перевела взгляд с подноса на служанку. Их глаза встретились. И на секунду, одну короткую секунду, между ними проскочило что-то, похожее на понимание. Две женщины, сломанные одной и той же войной, в одном доме, под властью одного и того же человека.

— Дождь кончился... — задумчиво повторила Марго и задумчиво уставилась в точку перед собой.

Не дождавшись ответа, Мэри выскользнула за дверь. Комната снова погрузилась в тишину. Но теперь эта тишина была другой. Не мёртвой. Выжидающей.

Марго взяла чашку обеими ладонями. Тепло обожгло пальцы — приятно, больно, отрезвляюще. Она поднесла

чашку к губам, и пар затуманил её отражение в зеркале. Женщина в треснувшей раме исчезла. Остался только чай, только тепло, только лента Пенелопы на столе.

А за дверью, в конце коридора, тяжелые шаги генерала снова смолкли — и уже было не понять, стоит ли он всё ещё у двери или ушёл дальше в свой кабинет.

Глава 3. Мужчина, не хлопающий дверь

Кабинет встретил Мортена Астрида холодом — тем самым, который не лечится растопкой камина, потому что исходит не от стен, а от человека, которому принадлежит.

Мортен закрыл дверь. Не хлопнул, хотя ему очень сильно хотелось, а опустил ручку плавно, почти бесшумно. Вообще, он никогда не хлопал. Шум был для него формой слабости, а слабости он себе не позволял. Даже когда внутри всё клочкотало.

Он стоял у двери несколько секунд, прижав ладонь к деревянной филёнке, — и слушал тишину коридора. Там, за стеной, за поворотом, за запертой дверью её комнаты, сидела женщина, которую он презирал. И которая — он знал это — в эту самую минуту либо плакала, либо смотрела в стену, либо перебирала свои бесконечные реликвии, пропитанные памятью о мире, который он лично помог уничтожить.

Он отдёрнул руку от двери, будто дерево обожгло пальцы, и прошёл к столу.

Кабинет был единственным местом в Бальдр-холле, где он чувствовал себя не в гостях у мертвецов. Здесь не было лепнины. Казённый стол, привезённый из штаба, жёсткий стул с прямой спинкой, керосиновая лампа, командирский план-

шет. Стены голые — он сам снял остатки картин, когда въехал. Оставил только письменный прибор: бронзовый ворон с расправленными крыльями, державший в лапах чернильницу. Птица смотрела на него слепо и осуждающе — как всё в этом доме — и поэтому отрезвляла.

Мортен опустился на стул, который громко скрипнул под его весом, словно протестуя. Он вытянул ноги в мокрых сапогах и позволил себе минуту неподвижности. Только минуту. Не больше. Генерал закрыл глаза, и перед ними возникло лицо.

Маргарета Валерианн. Его навязанная жена.

Она раздражала его.

Не своим существованием — с существованием он как раз смирился. Она раздражала его тем, как она существовала. Бесшумно. С затворенными дверями. С опущенными глазами, которые никогда не поднимались на него, но и не прятала. Она не заискивала перед ним, не умоляла, не проклинала в голос. Она просто была. И это её молчаливое присутствие действовало на него хуже крика. Крик можно было оборвать приказом. Слезы — проигнорировать. Но эта тихая, упрямая отстранённость — она царапала что-то под китем, в том месте, где, как он думал, уже давно не осталось ничего живого.

Истеричная дворянка. Так он её про себя называл, хотя ни разу не видел ни единой истерики. Но это не имело значения. Она была дочерью герцога. Этого было достаточно.

Он ненавидел аристократов. Ненавидел холодно, методично, всей душой — а душа у него, вопреки его собственным убеждениям, была, и болела она именно там, где пересекались шрамы от рабской плети и память о сытости господского дома. Каждый раз, проходя мимо двери Марго, он вспоминал не её — он вспоминал виноградники, где работал мальчишкой. Зной. Мухи над лозами. Хруст гравия под лопатками, когда его бросили в пыль после очередной порки. И голос хозяина, доносящийся из тени террасы: «Добавь ему ещё. Пусть знает своё место».

Теперь он сам стал хозяином. Но это ничего не изменило. Он по-прежнему чувствовал себя рабом в чужом доме. И дочь герцога — живая, молодая, с этими своими зелёными фамильными глазами — была ходячим напоминанием о том, что он здесь не на своём месте. Что всё, чего он достиг, — чужое. Дом — чужой. Власть — краденая. Жена — трофей, который не принадлежит ему по-настоящему, потому что трофеи не смотрят на победителя так, будто это он здесь пленник.

Раздражала. Всё раздражало.

Слуги, шарахающиеся от него в коридорах. Дворецкий Уиллфорд, подававший ужин с таким лицом, будто каждое движение говорило: «Ты здесь не хозяин, ты — узурпатор». Экономка, которая наладила быт в доме с армейской чёткостью, но делала это так, словно обслуживала не генерала, а само здание. Даже мальчишка, сын кухарки, — и тот смотрел

на него глазами, полными такого неприкрытого ужаса, будто Мортен был не человеком, а стихией, пришедшей с улицы.

И всё это было навязано. Дом. Жена. Слуги. Сам этот город, эта столица, в которую он возвращался с фронта как в чужую казарму.

Джеймс Рэдклифф.

Полковник.

Приёмный отец.

Мортен стиснул челюсть. Злость на Рэдклиффа была запрещена — как запрещена злость на хирурга, который ампутировал тебе ногу, но спас жизнь. Полковник вытащил его из рабства. Полковник дал ему имя, цель, оружие. Полковник сделал его тем, кто он есть, — а то, что он есть, теперь внушало ужас половине Республики. Он не мог злиться на Рэдклиффа. Это было бы предательством. Чёрной неблагодарностью, которой он не мог себе позволить. Не потому что боялся кары. А потому что тогда рухнет всё: смысл, вера, идеология. Если Рэдклифф ошибался — значит, всё было зря. Шрамы — зря. Чистка — зря. Жизнь — зря.

Поэтому он злился на Марго.

На неё — безопаснее.

Мортен взял со стола конверт, который привёз мальчишка. Гербовая печать. Бумага плотная, дорогая — такую не использовали в простых депешах. Он сломал печать движением большого пальца и развернул письмо.

Это было приглашение на Первый съезд Рабочей партии.

Оттиск чернильного текста, набранный какой-нибудь перепуганной машинисткой. Но под ним стояла знакомая подпись. Небрежная, летящая, с острым росчерком, перечёркивающим буквы наискосок. Дж. Рэдклифф.

Мортен пробежал глазами строки. Официальные формулировки, приветствия, повестка съезда — всё это было не важно. Важным был абзац внизу, дописанный отдельно перьевой ручкой:

«Жду тебя в президиуме. Будет полезно, чтобы граждане видели генерала рядом с Полковником в канун важных решений. И ещё — я настаиваю, чтобы ты явился с супругой. Пора показать Республике, что даже бывшие враги теперь едины под красным флагом. Пусть увидят вас вместе. Это приказ».

Вместе.

Мортен перечитал это слово дважды.

Он не был наивен. Он понимал, что это значит на языке Рэдклиффа. Не семейный выход в свет. Не жест доброй воли. Демонстрация. Пропаганда. Живой символ: генерал Республики и его жена-аристократка, идущие рука об руку. Враг повержен, враг ассимилирован, враг теперь часть нового мира. Посмотрите, граждане, как крепка наша власть — мы даже дочь герцога приручили.

Приручили. Мортен усмехнулся краем рта. Невесёлая вышла усмешка. Марго не была приручённой. Она была сломанной — но не смиренной. Это разные вещи. Сломанное

можно починить. Смиренное — нет. А она не смирилась. Она просто замолчала.

Он смял было письмо в кулаке, но пальцы замерли на полпути. Остановились, разжались. Разгладили бумагу. Приказ есть приказ. Полковник не просил. Полковник приказывал. И Мортен никогда — ни разу за все годы — не ослушался приказа.

Он встал из-за стола. Подошёл к комоду, где стоял графин с чем-то горячительным. Налил полстакана, выпил залпом. Жидкость сразу обожгла его горло, но желудок принял её с благодарностью. Мортен поставил стакан на поднос, провёл ладонью по лицу. Ладонь была сухой, шершавой — кожа, привыкшая к ветру и холоду, а не к кабинетной пыли.

Затем он подошёл к двери и, не повышая голоса, произнёс в коридор:

— Позовите экономку.

Слова упали в тишину, как камни в стоячую воду. Он не уточнял, кто именно должен позвать. Кто-нибудь услышит. В этом доме слышали всё — даже то, что не говорилось вслух.

Через две минуты в дверь постучали. Коротко, сухо, ни на полтона громче, чем требовалось.

— Войдите.

Миссис Уиллфорд вошла и остановилась у порога, выпрямившись, как солдат на смотре. Глухое серое платье, седой пучок, натянутая кожа на висках. Она смотрела не на Мортена — она смотрела чуть выше его левого плеча, в точку на

стене, где раньше висел имперский герб. Теперь там ничего не было — только светлый прямоугольник на выцветших обоях.

— Вызывали, генерал?

Она всегда обращалась к нему по званию. Не «господин», не «хозяин». Генерал. Сухо, уважительно, без подобострастия. Единственная в доме, кто сумела наладить с ним рабочий контакт — без симпатии, но с профессионализмом. За это Мортен её, пожалуй, даже уважал. В той мере, в какой вообще был способен на уважение к штатским.

— Передайте Маргарете, — он произнёс имя жены без интонации, как произносят название груза в инвентарной описи, — что сегодня вечером мы едем в Эренталь. Съезд Партии. Присутствие обязательно.

Миссис Уиллфорд моргнула. Единственный признак того, что она услышала нечто неожиданное. Но голос её остался ровным:

— Слушаюсь, генерал. Я передам.

— Передайте также, — продолжил Мортен, и теперь в его голосе прорезался тот самый металл, та самая хрипотца, которая заставляла солдат вытягиваться по струнке, — что если она не выйдет к указанному часу, я поднимусь к ней в комнату и вытащу её за шкуру. В том, что на ней будет надето в этот момент, или без этого — мне безразлично. Но она выйдет. Передайте дословно.

Экономка не шелохнулась. Только взгляд её — тот самый,

направленный в точку над плечом Мортена, — на секунду дрогнул. Она была слишком дисциплинированной, чтобы возражать генералу. Но и слишком преданной Марго, чтобы не почувствовать укола.

— Дословно? — уточнила она.

— Дословно.

Миссис Уиллфорд кивнула. Ни один мускул на её лице не дрогнул. Но что-то в осанке изменилось — плечи стали ещё прямее, подбородок задрался выше. Так выглядят люди, которые подчиняются приказу, но оставляют за собой право на тихое, глубоко спрятанное презрение.

— Будет исполнено, — сказала она. — Что-то ещё?

— Да, — добавил он отрывисто, жадно глотая воздух, — пусть оденет что-то... прилично. Вы знаете правила.

— Я знаю правила, генерал.

— Тогда идите.

Миссис Уиллфорд развернулась и вышла. Дверь закрылась за ней мягко, почти бесшумно.

Мортен остался стоять у стола. Ворон с чернильницы всё так же слепо, но осуждающе глядел на него. Керосиновая лампа подрагивала от сквозняка. За окном сгущались сумерки — позднелетние, но уже тяжёлые, налитые свинцом, как предгрозовое небо.

Он представил, как экономка поднимется на второй этаж. Как постучит в дверь. Как Марго выслушает его слова — дословно, с тем самым выражением застывшего горя на лице,

которое он видел только мельком в коридорах. И как ничего не ответит. Просто ляжет обратно в кровать и будет продолжать страдать.

Мортен взял и резко хлопнул по столу. Он не испытывал жалости. Жалость — роскошь. А роскошь — атрибут врага. Но что-то вызывало в нем такую ненависть при мысли об этом, что он уже не знал, куда выплеснуть ее.

На долю секунды ему стало тяжелее дышать. Мортен спил это на спёртый воздух кабинета и подошёл к окну, распахнув створку. Сырой ветер ворвался в кабинет и ударил его в лицо, принесся запах мокрой хвои и далёкого паровозного дыма. Где-то вдалеке, за аллеей, за воротами, за полями, лежал Эренталь — мрачный, праздничный, наряженный в красные флаги. Он ждал. И он хотел зрелищ.

— Хорошо, — произнёс Мортен ядовито в пустоту. — Будет тебе зрелище.

Он закрыл окно. Вернулся к столу. Вынул из планшета карту северного направления — и погрузился в бумаги, в координаты, в схемы снабжения. Война не ждала съездов. Роялисты, мечтавшие вернуть монархию и удерживающие северные рубежи, не ждали приглашений. А он не ждал прощения — ни от жены, ни от себя.

Но где-то там, наверху, уже разносился стук в дверь. И слова, которые миссис Уиллфорд произносила голосом, лишённым эмоций, но полным того самого тихого, бессильного презрения, которое в этом доме заменяло воздух. И ко-

торое Мортен испытывал к самому себе, никогда в этом не признаваясь.

Глава 4. Бог, которому не строят храмов. Часть 1

Парадный китель давил в плечах. Не потому, что был плохо подогнан — армейские портные знали своё дело, — а потому, что сам покрой парадной формы требовал от человека вытянуться, замереть, стать монументом. Мортен ненавидел парады. Он чувствовал себя в них не генералом, а экспонатом. Но приказ есть приказ, и вот он стоял у подножия лестницы Бальдр-холла, гладко выбритый, в чёрном кителе с красной выпушкой, и ждал.

Бритьё заняло десять минут. Щетина, жёсткая и тёмная, отросла за дни, проведённые в штабе и поездах, и теперь, смытая в раковину, она казалась последним, что напоминало о фронте. Теперь он выглядел как человек мира. Как политик. Как марионетка на верёвочках Рэдклиффа.

Он переступил с ноги на ногу. Сапоги, тоже парадные, блестели так, что в них отражался тусклый свет масляных ламп, зажжённых в холле по случаю вечера. Обычно миссис Уиллфорд сэкономила масло, но сегодня — Мортен знал — она зажгла лампы не для него. Для Марго. Чтобы та, спускаясь, не споткнулась в темноте. Или чтобы генерал, дожидаясь её, видел каждую трещину на лестничных перилах и помнил, чей это дом.

Ждать пришлось долго. Слишком долго для человека, привыкшего отдавать приказы и получать немедленный результат.

На лестнице появились две служанки. Кэти и Мэри. Они спускались, неся в руках что-то из белья — Мортен не всматривался, — и двигались так тихо, будто надеялись просочиться мимо него невидимками. Увидев генерала у подножия лестницы, обе замерли. Кэти прижала стопку простыней к груди. Мэри, по обыкновению, смотрела чуть в сторону, но плечи её напряглись, как у зверька, почуявшего хищника.

— Она всё ещё дуется? — спросил Мортен. Голос прозвучал ровно, но в конце фразы что-то треснуло — та самая хрипотца, выдававшая, что ровность даётся ему усилием.

Служанки не ответили.

Он смотрел на них снизу вверх — и видел два бледных лица, две пары глаз, упёртых в ступеньки, и два рта, сжатых в ниточку. В другое время он, возможно, оценил бы их молчание как верность госпоже. Но сегодня каждая секунда промедления подтягивала внутри него тетиву.

— Она должна быть благодарна, — произнёс он, уже не обращаясь к служанкам напрямую, а скорее проговаривая мысль, которая жгла язык с того самого момента, как он прочёл письмо. — Благодарна, что живёт в доме своего детства. Что спит в своей постели. Что дышит воздухом, который знает с рождения. Даже если остальные члены её семьи мертвы. Последнее слово упало между ними, как гильза на мра-

мор. Кэти вздрогнула. Мэри не шелохнулась, но что-то в её фигуре изменилось — будто внутри у неё захлопнулась ещё одна дверь.

Они не встретились с ним взглядом. Ни одна. Ни другая. Мортен раздражённо цокнул языком — резкий, сухой звук, похожий на щелчок взводимого курка. Он чувствовал, как в груди поднимается знакомая волна. Та самая ярость, которая в кабинете заставила его хлопнуть по столу. Та самая, которую он не имел права направить на Рэдклиффа и потому тащил сюда, в холл, к лестнице, к этим двум бессловесным девчонкам, к женщине за запертой дверью.

Как она смеет?

Как она смеет так себя вести — запирается, молчать, смотреть сквозь него своими зелёными фамильными глазами? Да, он уничтожил её семью. Да, его руки в их крови по локоть. Но он оставил её в живых. Он не тронул её. Не сломал. Не вышвырнул на улицу, где любая аристократка стала бы добычей для толпы. Она живёт в тепле, у неё есть слуги, еда, крыша. У неё есть больше, чем у девяти десятых граждан Республики. Больше, чем было у него самого в её возрасте: виноградники, плетень, мухи, грязь, голос хозяина из тени террасы. И она ещё смеет дуться?

Мортен не стал ждать, пока служанки что-то скажут. Да они бы и не сказали. Он обошёл их и, перепрыгивая через две ступеньки, поднялся по лестнице. Он остановился перед дверью Марго.

Час назад он уже стоял здесь. И ушёл. Теперь он вернулся и не намеревался уходить, пока не получит своего.

Рука в перчатке взлетела и резко, трижды ударила в дерево. Стук вышел не просительный, не предупредительный. Приказной. Так стучат, когда за дверью прячется провинившийся подчинённый.

— Маргарета.

Голос звучал низко, металлически. Он редко называл её по имени. Обычно — «она», «жена», «твоя госпожа» в разговорах с прислугой. Но сейчас ему нужно было, чтобы она услышала своё имя из его уст. Чтобы поняла: он не экономка. Он не служанка с чаем. Он тот, кто имеет право войти без разрешения.

— Перестань быть неблагодарной, — слова сочились презрением, как сукровица из-под старой корки. — Твоя драгоценная маленькая жизнь была спасена. Не так ли? Этого должно быть достаточно для тебя.

За дверью — тишина. Ни всхлипа. Ни шагов. Ни шороха. Только ветер за окном, только далёкий гудок паровоза, только кровь, стучащая в висках Мортена.

Он упёрся ладонью в дверной косяк и наклонился ближе. Теперь голос его звучал тише, но именно в этой тишине была настоящая угроза — не гром, а лезвие, вынимаемое из ножен.

— У меня нет терпения на твоё выклянчивание жалости. Не сегодня. Сегодня вечером важное мероприятие, на кото-

рое я обязан привести свою новоиспечённую жену. — Он выделил слово «обязан» так, будто оно было ядовитым. — Если ты не позволишь горничным одеть тебя, я приведу свою угрозу в исполнение. Ты слышала меня, когда я передавал через экономку. Сейчас ты слышишь меня лично.

Он помедлил. Ладонь в перчатке сжалась в кулак.

— Я ясно выразился, герцогиня?

Ядовитое прозвище упало — короткое, отрывистое, фамильярное — там, где полное «Маргарета» было бы формальностью, а этот уничтоженный им же титул прозвучал почти как пощёчина. Он никогда её так не называл. Никто в этом доме не называл её так, кроме призраков.

Тишина за дверью длилась удар сердца. Два. Три.

А потом — звук. Тихий, но отчётливый. Скрип. Шаги. Щелчок замка.

Мортен выпрямился. Поправил китель — машинально, как поправлял перед выходом на плац. Кулак разжался. Лицо приняло прежнее выражение — каменное, бесстрастное.

Но где-то там, под кителем, под шрамами, под бронёй — тетива всё ещё дрожала. И он не знал, что сделает, когда дверь откроется. То ли скажет что-то ещё более резкое. То ли просто развернётся и спустится вниз ожидать её у лестницы.

Он ждал.

Дверь открылась с тем отвратительным, протяжным скрипом, который Мортен слышал каждую ночь, когда ветер гулял по коридорам второго этажа. Старые петли стонали так,

будто дом не желал выпускать свою хозяйку наружу. Или, наоборот, не желал впускать его.

На пороге стояла Марго.

Он ожидал увидеть что угодно: заплаканное лицо, растрёпанные волосы, злое, ошетиненное молчание. Он приготовился к сопротивлению — почти хотел его, потому что с сопротивлением он умел обращаться: с помощью приказов, угроз, силы. Но то, что предстало перед ним сейчас, не было сопротивлением. Это было чем-то иным. Чем-то, к чему он оказался не готов.

Она была одета в строгое платье из тёмно-серой шерсти — ни намёка на прежнюю моду Империи, на шёлк и кружева, которые, как он помнил по облавам, обожали аристократки. Юбка до щиколоток, прямая, без единой оборки. От талии до высокого глухого воротника тянулся ряд пуговиц — мелких, костяных, застёгнутых под самое горло. Длинные рукава обтягивали запястья вплоть до тёмных вечерних перчаток, скрывающих пальцы. Это был идеальный силуэт военной элиты. Женщина-функция. Супруга генерала. Ничего лишнего. Так, как он и просил ее быть.

Волосы, ещё утром лежавшие на плечах тусклой волной, теперь были собраны в тугий пучок, стянутый на затылке так туго, что кожа на висках, казалось, натянулась до предела — совсем как у миссис Уиллфорд. Лишь две пряди были выпущены — они обрамляли лицо, спускаясь вдоль скул к подбородку. Пряди чуть подрагивали от сквозняка.

И лицо... Лицо было накрашено. Сильно. Слишком сильно для той женщины, которую он привык мельком видеть в коридорах. Пудра легла плотным слоем, выбелив кожу до фарфоровой бледности. На скулах — пятна румян, ярче, чем требовал случай. Губы тронуты чем-то алым. Она сделала это не для красоты. Она сделала это как художник, покрывающий трещины на старой фреске. Слой за слоем. Чтобы никто не увидел того, что под ними. Чтобы генерал, стоящий перед ней, не увидел синяков под глазами, потрескавшихся губ, ввалившихся щёк. Чтобы он увидел не Марго, а маску. И оценил — или был обманут.

Но Мортена было не так легко обмануть.

В руках Марго держала лёгкую накидку. Ткань была переброшена через согнутый локоть, и пальцы в перчатках сжимали край накидки так, будто это был единственный предмет, удерживающий её на земле.

Она не подняла глаз. Взгляд её был устремлён в пол — туда, где ковёр протёрся до основы. Где половицы, те самые, третья и пятая, ждали её шагов.

— Я готова, — произнесла она. Голос был тихим, ровным, лишённым интонаций. — Можем идти.

Мортен стоял неподвижно. Он смотрел на неё — на тугой пучок, на две пряди у скул, на алый рот, который только что произнёс эти три слова, не вложив в них ничего: ни покорности, ни протеста, ни жизни. Так говорят заводные куклы. Так говорят марионетки, у которых перерезали часть нито-

чек, но оставшихся хватает, чтобы поднимать ноги и наклонять голову.

И вот теперь — теперь, когда она сделала всё, как он просил, когда она стояла перед ним одетая, собранная, готовая, — ярость, не находившая выхода, наконец нашла.

Он усмехнулся. Губы искривились — не в улыбке, а в презрительном оскале, который прорезал жёсткое лицо, как трещина прорезает камень.

— Эти мёртвые, пустые глаза сегодня не подойдут, герцогиня.

Имя снова упало как пощёчина. Он шагнул ближе — на полшага, не больше, но достаточно, чтобы она почувствовала запах металла и сырой шерсти, исходящий от его кителя.

— Ты будешь представлена тем самым людям, которых твоя семья веками давила своими сапогами. — Каждое слово было облито ядом, но яд этот был холодным, не горячечным. Так цедят сквозь зубы, когда хотят, чтобы слышали с первого раза. — Народ Республики должен видеть, как вы благодарны за то, что вас освободили. Ты будешь стоять рядом со мной. Ты будешь держать рот на замке, пока к тебе не обратятся. И ты заставишь себя улыбнуться.

Пауза. Генерал замер, нависая над ней скалой, и одним лишь видом пригвоздил хрупкую женщину к полу.

— Если ты поставишь меня или Полковника в неловкое положение, изображая мученика перед прессой... — он не договорил сразу. Кадык дёрнулся. — Я напомню тебе, что

бывает с верноподданными короны. Патроны по-прежнему заряжены.

Слова упали в тишину коридора и остались лежать между ними — холодные, металлические, как гильзы. Марго не шелохнулась. Только ресницы дрогнули — едва заметно. Но взгляд из пустого стал чуть более сосредоточенным. Словно где-то там, за фарфоровой бледностью и алым ртом, внутри марионетки проснулось что-то живое — и сразу же спряталось обратно.

Мортен не стал дожидаться ответа. Он развернулся и начал спускаться по лестнице. Шаги его были резкими, но ровными — шаги человека, который только что выпустил пар и теперь мог дышать.

В холле он сорвал шинель с вешалки, набросил на плечи, не застёгивая. Кэти и Мэри всё ещё стояли у стены. Ни одна не шелохнулась.

— Машина подана, — бросил он через плечо. — Не отставай.

Мортен толкнул входную дверь и вышел в серый вечер. Ветер ударил в лицо, трепал полы шинели. У крыльца, на гравийной площадке, стоял служебный автомобиль — чёрный, лакированный, с красным флажком на капоте. Он сам сел за руль. Не потому что не доверял шофёрам — он не доверял никому, кроме себя. И потому что вести машину означало контролировать хоть что-то в этом вечере, где контроль ускользал от него с каждой минутой.

Двигатель завёлся с низким, утробным рыком. Фары про-резали сумерки. Мортен положил руки на руль и стал ждать, глядя прямо перед собой — туда, где аллея уходила в тем-ноту, к Эренталю, к съезду, к Полковнику.

За его спиной дверь Бальдр-холла ещё раз скрипнула. На крыльцо вышла Марго. Накидка хлопала на ветру. Она спу-стилась по ступеням, не глядя по сторонам, и села на заднее сиденье — туда, где жене генерала и полагалось сидеть. Не рядом с ним. За его спиной.

Дверца закрылась с мягким, окончательным стуком. Мор-тен нажал на педаль, и автомобиль, разбрызгивая гравий, по-катил прочь от Бальдр-холла. В зеркале заднего вида мельк-нули два силуэта в дверном проёме — Кэти и Мэри, прово-жавшие машину взглядами.

Он не обернулся. Она тоже.

Глава 4. Бог, которому не строят храмов. Часть 2

Машина выехала за ворота Бальдр-холла и покатила по аллее, разбрызгивая лужи в сгущающихся сумерках. Мортен вёл молча. Его руки в перчатках лежали на руле, а фуражка небрежно валялась на пассажирском сидении, где могла бы быть жена. Но не военнопленная, которой Маргарета была в его глазах.

Марго сидела на заднем сиденье, выпрямив спину так, чтобы не касаться затылком подголовника, и смотрела в окно, где из темноты выплывал праздничный Эренталь.

Он был... Она не ожидала, что сможет это признать, но город, наряженный к съезду, производил впечатление — той болезненной, лихорадочной красотой, какой красивы предсмертные галлюцинации. Красные флаги трепетали на каждом фонарном столбе. Транспаранты, подсвеченные снизу масляными лампами, светились изнутри, как витражи в храме. Гирлянды из хвои обвивали гранитные набережные, и запах мокрой хвои просачивался даже сквозь закрытое окно машины. Толпы текли по тротуарам — люди в серых шинелях, в рабочих кепках, с красными значками. Многие были пьяны. Песни, грубые и нестройные, долетали обрывками сквозь шум мотора. Кто-то танцевал прямо на мостовой.

Кто-то размахивал флагом, едва не задевая прохожих. Кто-то, обняв товарища за плечи, орал что-то о свободе — и голос срывался на пьяный фальцет.

Для них это был праздник. Но для неё — поминки.

Каждый камень здесь помнил другую жизнь. Вот этот проспект — она ездила по нему с отцом в открытом экипаже, и солнце светило, и ветер играл лентами на её шляпке — когда-то был светской артерией столицы. А вот в этом переулочке они с Софи бегали за сладостями, пока гувернантка отвлекалась. На том мосту Седрик однажды уронил игрушечный кораблик, когда они все возвращались со скачек, и плакал, пока отец не пообещал ему настоящую лодку. Отец обманул его. Настоящую лодку он так и не получил. И уже никогда не получит...

Марго сглотнула. Город был кладбищем. И по кладбищу плясали пьяные могильщики.

Машина свернула на главную площадь. И здесь воздух стал другим.

Марго знала это место. Знала не по казни — её семью вывезли за город, к оврагам. Но здесь, на брусчатке перед бывшим Императорским дворцом, расстреливали других. Первых. Самых заметных. Тех, кого Полковник хотел казнить показательно. Она помнила слухи: кровь замывали три дня, и вода в канавах сочилась розовой пеной. Сейчас на этом месте стояла трибуна, обтянутая красной тканью, и рабочие заканчивали крепить последние гирлянды. Там, где раньше ле-

жали тела, теперь лежали праздничные венки. Там, где раньше стучали выстрелы, теперь репетировал оркестр. Медные трубы блестели в свете фонарей, играя марш, похожий на реквием.

Пальцы Марго сами собой нащупали запястье. Там, где перчатка встречала руку платья, на коже была повязана розовая лента. Лента Пенелопы. Она обернула её вокруг запястья в последний момент, перед выходом — когда решила, что не сможет ступить на эту землю без какой-нибудь защиты. Без чего-то святого.

Святое. Республика ненавидела это слово. Республика снесла алтари, разбила витражи, превратила соборы в склады и агитпункты. Вера была объявлена пережитком — «опиумом для народа», как писали в партийных листовках. Но Марго, сидя в своей комнате, месяцами смотревшая в стену, нашла путь обратно. Он был тихим. Тайным. В молитвах, которых никто не слышал. В обращениях к богу, имени которого она раньше не знала, но теперь повторяла шёпотом, как заклинание. Это был ее последний оплот, чтобы не потерять рассудок. Но с каждым днем, проведенным в ожидании чуда, даже этот фундамент рушился под тяжестью невозможного.

Но даже сейчас Марго повторяла молитву. Губы шевелились беззвучно, пока машина ползла по площади. Слова были простыми: не о спасении души, не о прощении. Только о том, чтобы те, кого так жестоко забрала судьба раньше срока, нашли покой.

Пальцы сильнее сжали запястье. Лента под тканью натянулась и впилась в кожу болезненным напоминанием. В этот момент Мортен посмотрел в зеркало заднего вида.

Он увидел её лицо — залитое светом фонарей, бледное, с алыми, как флаги, губами и опущенными глазами. Увидел, как дрогнули её ресницы. Увидел, как рука в перчатке сжимала запястье другой руки. Он молнией разрезал его мысли. Жест был слишком знакомым. Слишком памятным. Слишком похожим на то, как рабы на виноградниках сжимали тряпицы, выданные матерями, когда надсмотрщик проходил слишком близко.

Это невольное воспоминание, вспыхнувшее в нем яркой вспышкой, заставило его усмехнуться. Коротко. Сухо. Без веселья.

— Молишься? — спросил он через плечо, не оборачиваясь. — Этому вас учили в ваших храмах? Молиться на костях?

Марго не ответила. Но пальцы не разжала.

Мортен перевёл взгляд на дорогу. Усмешка всё ещё держалась в уголке губ, но стала натянутой. Потому что он знал: её молитва была не о нём. И не о Республике. И не о съезде. Она была о чём-то, что он потерял навсегда. О чём-то, что не укладывалось в приказы и не подчинялось залпам. И это что-то — он чувствовал это с раздражающей ясностью — сильнее его. Сильнее Полковника. Сильнее всего, что они построили.

Машина замедлила ход и остановилась у гранитных ступеней бывшего Императорского оперного театра. Теперь это был Дом Съездов Республики — и об этом кричали три красных транспаранта, свешивавшиеся с колонн, и красно-чёрные флаги, вколотенные в пазы, где раньше стояли скульптуры муз. Мраморные ступени, истёртые тысячами ног, вели к высоким дверям, распахнутым настежь. Оттуда лился жёлтый свет, и гудели голоса.

Мортен заглушил мотор. Тишина, наступившая после этого, была короткой — как вдох перед прыжком. Он не оборачивался. Рука в перчатке легла на ручку дверцы.

И тогда Марго заговорила.

— Вы можете в него не верить, — голос её был тихим, но в тесном салоне машины прозвучал ясно, как звон колокольчика в пустом храме, — но я всё равно буду молиться за вашу заблудшую душу, генерал. Да дарует вам Бог покой, которого не смогли бы дать ни казни, ни красно-чёрные флаги на шпилях.

Рука Мортена замерла на ручке дверцы. Он не обернулся. Но плечи под кителем на долю секунды напряглись — так напрягается спина человека, услышавшего выстрел вдалеке. Он ничего не ответил. То ли не нашёл слов, то ли счёл их недостойными себя. Дверца открылась. Мортен вышел первым, на ходу надел фуражку, которую подхватил с пассажирского сиденья, и захлопнул дверцу. Звук вышел резкий, окончательный.

Марго вышла следом.

У входа уже кипела толпа. Журналисты — лояльные, отобранные, в серых плащах и с блокнотами на изготовку — сгрудились у первых ступеней, вытягивая шеи. Завидев генерала, они зашевелились, как стая сорок при виде очередной блестяшки. Вспышки магниевых ламп полыхнули одна за другой, выдирая из сумерек его фигуру: чёрный китель, блестящие сапоги, каменное лицо.

— Генерал Астрид! Генерал! Пару вопросов для «Рабочего вестника»!

— Каков ваш прогноз по северной кампании? Вы направите туда свой отряд Гончих?

— Это ваша супруга? Миссис Астрид, постойте!

Марго невольно отступила на полшага, прячась за широкой спиной Мортена. Она опустила глаза, боясь встретиться взглядом с этими людьми — теми, кто завтра напишет о ней то, что прикажут. Её пальцы снова нащупали розовую ленту под перчаткой.

Мортен не отвечал. Он вообще не смотрел на журналистов. Он просто двинулся вперёд, и толпа расступилась перед ним, как вода перед форштевнем. Но в этом движении, сам того не замечая — или не желая замечать, — он сместился чуть вправо, закрывая Марго плечом от ближайшего репортёра. Потом чуть влево — отсекая вспышку фотографа. Он не делал это сознательно. Его тело двигалось так, как двигалось на поле боя: прикрывая тылы, отсекая угрозы, уводя.

Он вёл её сквозь толпу, не подавая руки, не говоря ни слова — просто шёл, и она следовала за ним в полушаге, в его тени, и тень эта, вопреки всему, была самым безопасным местом в этом городе.

Двери театра поглотили их. Внутри было душно. Тепло сотен тел, смешанное с запахом сырой шерсти, табака и дешёвых духов, ударило в лицо. Фойе, когда-то блиставшее позолотой, теперь было ободрано до голой штукатурки. Там, где раньше висели хрустальные люстры, теперь крепились на скобах обычные масляные лампы — свет от них был жёлтым, дрожащим, некрасивым. Полы из наборного паркета истёрлись и кое-где были заменены простыми досками. Военные, политики, их жёны в строгих серых платьях — все двигались медленно, степенно, как полагается новой элите.

Но Марго не смотрела на них. Её взгляд был прикован к потолку.

Там, на высоте трёх этажей, раньше красовалась лепнина. Гипсовые цветы, сплетённые в гирлянды. Амуры, трубившие в рога. Маски комедии и трагедии, перевитые лавром. Она помнила их. Она смотрела на них в детстве, когда отец впервые привёл её сюда на оперу. Ей было семь, и она, задрав голову, крутилась на месте, разглядывая каждую деталь, а отец смеялся и держал её за руку, чтобы не упала. «Это всё сделали люди, моя маленькая птичка, — говорил он. — Простые люди. Штукатуры, художники, резчики. Империя стоит не на золоте, а на руках этих гениальных мастеров».

Теперь от лепнины остались только следы. Грубые сколы, проплешины штукатурки, тёмные пятна там, где молоток сбивал гипсовые цветы. Императорский герб, венчавший центр плафона, был затёсан до неузнаваемости — теперь на его месте зияла серая рана. Потолочная роспись осыпалась чешуйками, и на полотне, растянутом под потолком, проступали лишь остатки облаков и край чьей-то небесной туники. Боги уплыли. Осталась только грязь.

Марго сглотнула. В горле стоял ком. Она шла, ведомая генералом, через фойе, через анфиладу дверей в главный зал, и каждый шаг отдавался в ней болью. Здесь репетировала Агнес — один раз, всего один, в любительской постановке, и мать утирала слёзы гордости. Здесь Седрик впервые увидел обезьянку в антракте представления южной труппы и проспал весь второй акт у отца на коленях. Здесь...

Мортен усадил её в первом ряду партера — специальные места, отведённые для высшего командования. Марго села и сложила руки на коленях. Впереди, на сцене, уже начались речи. Какой-то комиссар по культуре, сухой, как чертёж, бубнил о достижениях пролетариата в области музыки. Следом вышел военный — он говорил о победах на северном фронте в общих словах, не называя цифр. Марго не слушала их. Её глаза блуждали по залу, выискивая новые разрушения. Вот там, на балконе, раньше была позолоченная арка в виде виноградной лозы. Её сбили. А там, над сценой, висели бархатные портьеры с кистями — их заменили на крас-

но-чёрные полотнища, грубо покрашенные трафаретом. А вот тут...

Она резко зажмурилась. Слёзы подступали, горячие, едкие, и она сжала пальцы в кулаки, вонзая ногти в ладони сквозь ткань перчаток, чтобы болью перебить горе. Она не могла этого допустить. Не здесь. Не сейчас. Не перед ним.

А потом на трибуну вызвали Мортена.

Генерал поднялся и обернулся к залу, словно хищник, окидывающий взглядом свою свору. Одернул китель. Сапоги глухо застучали по деревянным ступеням. Он вышел к трибуне без листка, без бумаг. Это всегда всеми воспринималось как «слово от сердца, без бумажной бюрократии», и только Рэдклифф и сам Мортен знали правду: хваленый генерал Республики попросту очень плохо читал вслух, пронося слова по слогам, как маленький ребенок, потому что бывшим рабам было не положено уметь читать. Но вот теперь, наперекор своему происхождению, он стоял перед залом, прямой, как штык, и смотрел в толпу своими тёмными, как уголь, глазами.

Он заговорил.

Ровно. Без интонаций. Но каждое слово было обито такой искренностью, что зал замолчал. Сперва он говорил то, что от него ждали. О величии Республики. О победах на фронтах. О единстве народа и армии. О том, что старый мир сгнил изнутри — и он знает это, потому что видел гниль своими глазами, своими сломанными рёбрами, своей изрезан-

ной шрамами спиной.

А потом что-то сместилось.

Его взгляд, бродивший по залу, упёрся в первый ряд. В неё. Марго сидела, выпрямив спину, сложив руки на коленях, с лицом, застывшим в той самой маске, которую он видел в дверях её спальни. Фарфор. Пудра. Алые губы. И он вдруг понял, что говорит не залу. Он говорит ей.

— Оглянитесь вокруг, — начал Мортен, и хриплый баритон легко донёсся до самых высоких балконов без необходимости кричать. — Год назад вас бы расстреляли за то, что вы переступили порог этого зала. Это здание было святилищем излишеств императорской семьи. За золото, которым отделаны эти стены, было заплачено вашим потом и кровью. Шёлк, которым задрапированы эти сиденья, был соткан из ваших страданий.

По толпе прокатилась волна гневного согласия — глухой, утробный гул, какой издаёт стая перед броском. Люди в серых шинелях закивали. Кто-то сжал кулак. Кто-то выкрикнул: «Смерть аристократам!» — и крик этот потонул в новом гуле.

Взгляд Мортена опустился с балконов на первый ряд. На Марго.

Она сидела прямо, сложив руки на коленях. Марго не шевельнулась. Но пальцы, скрытые за перчатками, побелели.

— Они считали себя неприкасаемыми, — продолжил он, и голос понизился до опасной, командирской интонации, той

самой, что заставляла солдат вытягиваться по струнке. — Они верили, что их кровь делает их божественными. Они молились своим богам, носили свои драгоценности, целовали свои гербы и думали, что это даёт им право владеть вами.

Он сделал шаг в сторону от трибуны. Сапоги гулко ударили по дереву сцены. Высокая, широкоплечая фигура излучала абсолютную властность. Жестом он обвёл зал, указывая на зрителей, но взгляд его — тёмный, прикованный, неотрывный — был направлен на бледное лицо в первом ряду.

— Они были неправы.

Зал взорвался аплодисментами. Мортен стоял неподвижно, впитывая шум, и смотрел на Марго. И она хлопала. Медленно, механически, вместе со всеми. Потому что не хлопать было нельзя. Потому что он это бы увидел.

Именно этого он и хотел. Чтобы она хлопала. Чтобы она сидела среди руин своего детского мира и аплодировала тому, кто этот мир разрушил.

— Мы разбили их статуи. Мы сорвали их гербы. Мы лишили их богатства, власти и гордости, — он снова шагнул, теперь ближе к краю сцены, так что тень его упала на первый ряд. — Но мы не просто разрушили. Мы победили.

В груди разлилось злобное, жестокое удовлетворение. Та самая ярость, что клокотала в кабинете, у лестницы, у запертой двери, в машине, — здесь, на сцене, она наконец нашла выход. Не крик. Не удар по столу. Слова. Острые, как штык, и такие же холодные.

Он хотел, чтобы она почувствовала тяжесть каждого из них. Хотел сорвать с неё эту безупречную аристократическую маску. Хотел увидеть, как она сломается — не там, в своей комнате, в тишине, а здесь, перед всеми. Потому что её молчаливое горе бесило его больше, чем любая истерика. Потому что её слова о боге, произнесённые в машине, до сих пор царапали что-то под кителем. Потому что она, со своей розовой ленточкой, со своими молитвами, со своими лепнинами, была живым укором. Всему. Новым идеалам. Республике. Ему.

— Мы забрали их дома, — произнёс он низким, звучным голосом. — И мы забрали их дочерей.

Толпа разразилась грубыми, торжествующими возгласами. Стены дрогнули. Несколько офицеров в первых рядах повернулись к Марго и захлопали особенно громко, скаля зубы, демонстрируя своё превосходство над поверженной герцогиней.

Мортен стоял с невозмутимым, непреклонным выражением лица. Но внутри у него всё дрожало. Не от стыда. Не от жалости. От наслаждения. Он наслаждался тем, как больно ранят её эти слова. Он чувствовал, что поступает справедливо. Что каждое слово — заслуженно. Что это она, со своей тихой скорбью, со своими зелёными глазами, со своей молитвой о его заблудшей душе, — она заслужила это унижение. Она, а не он.

— Республика не просит о повиновении, — он повысил

голос в последний раз, и теперь он гремел под сводами бывшего театра, как гром над плацем, — она требует его. Эпоха дворянства прошла. Да здравствует Республика!

— Да здравствует Республика! — взревела толпа, устрашающий и рьяный хор.

Мортен не поклонился. Он развернулся и пошёл к своему месту — к первому ряду, туда, где сидела Марго. Сапоги отбивали ритм. Сердце колотилось ровно, без сбоя. Он сел рядом с ней — не глядя, не касаясь, просто занял своё место.

И зал продолжал рукоплескать. И она продолжала хлопать. И розовая лента всё ещё жгла запястье. И бог, которому она молилась, молчал. Но она — она ещё дышала. И это, быть может, уже было чудом, о котором она так молила.

Глава 5. Нить.

Машина рассекала ночь, разбрызгивая лужи на пустынных улицах. Дождь начался, когда они выехали из центра, — мелкий, противный, он барабанил по крыше автомобиля, стекал по стёклам, превращая город в размытое полотно. Фары выхватывали из темноты мокрые булыжники, заколоченные витрины, одиноких прохожих, спешивших под навесы. Эренталь засыпал после праздника. Пьяные песни стихли. Флаги обвисли, напивавшись влагой. Транспаранты потемнели.

Мортен вёл молча. Его лицо, подсвеченное снизу приборной панелью, было каменным. Речь на съезде выпила из него всю ярость, оставив после себя только пустоту — ту самую, что наступает после боя, когда адреналин схлынул, а трупы ещё не убраны. Он не смотрел в зеркало заднего вида. Ему не нужно было смотреть. Он знал, что она сидит там — неподвижная, безмолвная, сложив руки на коленях.

Марго действительно не шевелилась. Она смотрела в окно, но не видела города. Она вообще ничего не видела. Слова, которые он бросил с трибуны — «Мы забрали их дочерей», — всё ещё стояли в ушах, как звон после удара. Она знала, что он говорил для неё. Каждое слово. Каждая пауза. Каждый взгляд, брошенный в первый ряд. Это была публичная казнь. Не телом — духом. И она выдержала. Она хлопа-

ла. Она не заплакала. Но теперь, в темноте машины, когда никто не видел её лица, маска сползла. Губы сжались в ниточку. Глаза ушли в себя. Она снова стала той женщиной из треснувшего зеркала — пустой, сухой, мёртвой изнутри.

Часовая башня Эрентальского вокзала, проплывшая справа, показывала 11:48. Стрелки застыли, как всегда. Но второй раз за день они показывали правильное время.

Машина свернула на аллею, и в свете фар показался Бальдр-холл. Мокрый, чёрный, с заколоченными окнами-крестами. Дождь усилился. Капли лупили по гравию, по крыше, по лобовому стеклу. «Дворники» работали без устали, но видимость всё равно была скверной.

И всё же Марго заметила.

У крыльца стоял дворецкий Уиллфорд. Он держал в одной руке фонарь, в другой — зонт, и свет фонаря прыгал на ветру, выхватывая из темноты его лицо. Оно было бледным. Не просто бледным — белым, как мел. Старик сжимал ручку зонта так, будто это была трость, а сам он едва держался на ногах. Ветер трепал его седые волосы. Он вышел встречать их. Не экономку послал, не служанку — вышел сам. В такой час. В такой дождь.

Сердце Марго, до этого бившееся вяло, почти беззвучно, вдруг дало сбой. А потом — ударило. Сильно. Глубоко.

Что-то случилось.

Она выпрямилась на сиденье. Пальцы, до этого безжизненно лежавшие на коленях, сжали ткань платья. Взгляд —

ещё минуту назад стеклянный — сфокусировался. Она подалась вперёд, вглядываясь в тёмный силуэт дворецкого.

Мортен заглушил мотор. Он тоже заметил старика, но истолковал его присутствие иначе: прислуга встречает хозяина. Он открыл дверцу и вышел под дождь, на ходу натягивая фуражку.

— Какого чёрта, Уиллфорд? — бросил он, подходя к крыльцу. — В чём дело?

Уиллфорд не ответил. Он смотрел не на генерала. Он смотрел мимо него — туда, где из машины выходила Марго.

Дождь ударил ей в лицо. Она не заметила. Накидка намочла мгновенно, пряди у висков прилипли к щекам, тушь потекла, но она не замечала и этого. Она шла к крыльцу, не сводя глаз с дворецкого, и сердце колотилось уже где-то в горле.

Они вошли внутрь.

В холле горели все масляные лампы — миссис Уиллфорд не сэкономила сегодня. Их свет был жёлтым, дрожащим, тревожным, предвещающим беду. У лестницы, прижавшись друг к другу, стояли Кэти и Мэри. Они теребили фартуки — Кэти нервно, быстро, Мэри медленно, методично, как будто перебирала чётки. У камина, выпрямившись в струну, стояла миссис Уиллфорд. Лицо её было серым. Губы сжаты.

Марго перевела взгляд с экономки на дворецкого, с дворецкого на служанок. И холл, всегда чужой и холодный,

вдруг стал ещё холоднее.

— Миледи, — произнесла миссис Уиллфорд.

И это слово — «миледи», запрещённое Республикой, вытравленное из обихода, произносимое только шёпотом за закрытыми дверями, — ударило сильнее любого крика.

Мортен замер на пороге, стягивая мокрые перчатки. Его брови сошлись к переносице. Он открыл рот, чтобы одёрнуть экономку — к кому она обращается, кто здесь «миледи»? — но слова застряли. Потому что миссис Уиллфорд смотрела не на него. Она смотрела на Марго. Она нарушила негласный закон дома — обращаться к генералу первому, — и сделала это намеренно. Так нарушают правила, когда случается непоправимое.

— Произошла беда, — сказала экономка. Голос её, всегда металлический и ровный, дрогнул. — Вам лучше пройти на кухню. Сейчас же.

Марго почувствовала, как что-то внутри неё — то, что она считала мёртвым, похороненным вместе с матерью, отцом, сёстрами, братом, — вдруг шевельнулось. Не горе. Не страх. Другое. То, что заставляло её когда-то поправлять воротничок Седрику перед выходом к завтраку. То, что заставляло её сидеть с Пенелопой, когда та болела, и менять компрессы. То, что мать называла «долгом старшей дочери». Оно проснулось — резко, как просыпается солдат от сигнала тревоги.

Она выпрямилась. Плечи развернулись. Подбородок под-

нялся. Зелёные глаза, ещё минуту назад пустые, вспыхнули. Не гневом. Не слезами. Жизнью. Той самой жизнью, которую Мортен не видел ни разу с их первой встречи.

— Показывайте, — сказала она. Голос был тихим, но в нём не осталось ни тени той заводной куклы, что отвечала ему «я готова». Теперь это был голос женщины, которая вела за собой. Которая брала ответственность. Которая знала, что делать.

Миссис Уиллфорд, не поклонившись генералу, развернулась и пошла к коридору для прислуги. Марго двинулась за ней. Кэти и Мэри расступились, пропуская их. Дворецкий, вытирая мокрое лицо платком, поспешил следом.

Мортен остался один в холле. Мокрые перчатки всё ещё были зажаты в кулаке. Камин трещал, но тепла не давал. Тишина, наступившая после их ухода, звенела в ушах.

Она выпрямилась. Он видел это. Она подняла подбородок, развернула плечи, и глаза её — те самые, зелёные, фамильные, которые он привык видеть либо опущенными в пол, либо затянутыми плёнкой пустоты, — вспыхнули. Не гневом. Не слезами. Чем-то, чего он не понимал. Чем-то, что заставило его замереть на пороге, как мальчишку, которого не позвали играть.

Он отбросил перчатки на столик у двери. Они шлёпнулись с мокрым, неприятным звуком.

А потом он пошёл следом.

Коридор для прислуги был узким, плохо освещённым.

Пахло сыростью, варёной картошкой, уксусом, старой шерстью. Шаги миссис Уиллфорд и Марго уже удалялись, и до Мортена долетали обрывки разговора — тихие, быстрые, сдавленные.

— ...на аллее, у самых ворот... видимо, увидели, когда он возвращался... солдаты, пьяные, целая группа... праздновали... смеялись, что он до сих пор служит госпоже...

— Где он сейчас?

— На кухне. Марта с ним. Мы сделали, что смогли.

Пауза. Затем опять шаги.

— Нога?

— Месиво, миледи. Боюсь, что...

Мортен ускорил шаг. Сапоги застучали по половицам громче. Он миновал поворот и увидел, как экономка пропускает Марго в кухонную дверь. Жёлтый свет хлынул в коридор.

Марго вошла. И замерла на пороге лишь на секунду — ровно на одну, — прежде чем начать действовать.

Кухня была ярко освещена. Все масляные лампы, какие нашлись в поместье, сгрудились на буфете и подоконнике. На массивном дубовом столе, покрытом чистой скатертью — кто-то постелил её, наверное, миссис Уиллфорд, — лежал Тимми.

Он был бледен, как бумага. Лицо — то самое, что утром сияло щербатой улыбкой, пока он разрезал лужи, — теперь было искажено болью. Губы посинели, на лбу выступила ис-

парина. Глаза были закрыты. Дышал он часто, коротко, поверхностно, как дышат люди, которым каждый вдох даётся ценой невероятного усилия.

Его правая нога... Как правильно сказала миссис Уиллфорд, это было месиво. Брючина разорвана в клочья, ткань пропиталась кровью так, что стала чёрной. Выше колена был наложен самодельный жгут — ремень, затянутый неумелой рукой. Кровь всё ещё сочилась сквозь него, капала на скатерть, на пол, на всё вокруг. Пахло железом. Много железа.

Рядом, на табурете, сгорбилась Марта. Она не плакала — вернее, плакала до этого, но теперь слёзы кончились. Осталось только сухое, страшное молчание матери, которая видит, как умирает её ребёнок. Её рука лежала на лбу Тимми, поглаживая его по волосам, и молилась.

Марго не колебалась. Она подошла к раковине, повернула кран, намылила руки. Тщательно, методично, как учила мать. Затем сдёнула с крючка фартук — не свой, простой, кухонный, в пятнах муки — и повязала поверх серого платья. Рукава закатала. Пуговицы под горлом расстёгнула.

Она склонилась над столом.

— Свет, — бросила она, и миссис Уиллфорд тут же поднесла лампу ближе.

Марго осмотрела жгут. Пальцы её, уже без перчаток, коснулись ремня, проверяя натяжение. Потом она склонилась ниже и осмотрела саму рану. Осторожно, кончиками пальцев, развела края разорванной брючины.

И замерла.

То, что она увидела, было хуже, чем «месиво». Кость раздроблена в нескольких местах. Пули — три, может, четыре — прошли навывлет, но осколки кости превратили мягкие ткани в фарш. Даже если бы здесь был хирург с полным набором инструментов, даже если бы здесь была больница, ногу было не спасти.

Марго разогнулась. Лицо её было спокойным, но в этом спокойствии не было бесчувствия. Это было спокойствие человека, который принял решение.

— Ногу надо ампутировать, — сказала она ровным, тихим голосом. — Её не спасти. Если не убрать сейчас, наступит гангрена. А за ней заражение крови и смерть. Возможно, через сутки. Возможно, раньше.

Марта всхлипнула. Глухо, надрывно, как раненое животное.

— Нет... нет, только не...

— Марта. — Марго повернулась к кухарке и встретила её взгляд. Твёрдо. Без снисхождения, но и без холода. — Он умрёт, если я этого не сделаю. Ты понимаешь меня? Умрёт.

Марта закрыла рот ладонью. Её плечи затряслись. Она кивнула — резко, судорожно. А потом наклонилась и поцеловала сына в лоб. В последний раз, пока он ещё был целым.

И в этот момент миссис Уиллфорд, державшая лампу, подняла глаза и увидела генерала.

Он стоял в дверях кухни.

Как долго он там стоял? Секунду? Минуту? Никто не заметил. Его лицо было каменным, но взгляд — тёмный, угольный — был прикован не к мальчику, не к луже крови на скатерти. К ней. К Марго. К тому, как она держалась. К тому, как она отдавала распоряжения. К тому, как она, не колеблясь, взяла на себя груз, от которого любой штатский — да и многие военные — отшатнулся бы в ужасе.

Он знал, что такое полевая хирургия. Он видел, как костоправы ампутируют конечности под стоны и крики, под треск разрываемых сухожилий. И он знал другое. Знал то, чего Марго, при всём её хладнокровии, не могла знать. Кость не перепилить одними руками. Нужна пила. Нужны зажимы. Нужна сила — мужская сила, тренированная, привыкшая к анатомии боя.

Он шагнул вперёд. Сапоги стукнули по каменному полу.

— У тебя не получится, — сказал он низким, ровным голосом. — Перепилить самой. Не хватит сил.

Марго подняла на него глаза. В них был оскал раненого животного, который даже через боль защищает детеныша. Она не хотела принимать помощь от человека, чьи люди довели Тимми до такого. Но в глубине души она знала — он был прав.

— Тогда не стой в стороне, — прошипела она сквозь зубы.

И Мортен Астрид, генерал Верданской Республики, правая рука Полковника, палач аристократии, скинул парадный китель.

Он подошёл к раковине, куда минуту назад подходила она. Тоже вымыл руки, но коротко, грубо, как перед операцией в полевом госпитале. Затем повернулся к столу и осмотрел рану — быстро, профессионально, без тени эмоций.

— Жгут надо перетянуть выше, — сказал он. — Вот здесь. Наложить артериальный зажим — есть в доме что-то похожее?

— У меня есть корнцанг, — ответила Марго, не глядя на него. — Материнский. Из старого набора.

— Неси.

Это был приказ. Но впервые в этом доме он не звучал как угроза. Он звучал как команда на поле боя — быстрая, деловая, безличная. И Марго, не колеблясь, пошла выполнять.

Миссис Уиллфорд и Мэри, пришедшая с ней, уже несли чистые полотенца, таз с горячей водой, бутыль спирта — всё то, что нашлось в хозяйстве. Кэти, бледная, но решительная, держала лампу обеими руками, направляя свет на рану. Марта, отстранённая от сына, но не выгнанная, стояла у плиты и продолжала молиться — шёпотом, тем самым запрещённым шёпотом, который Республика пыталась вытравить, но не смогла.

И в центре этого хаоса, посреди пара и запаха крови, посреди железа и спирта, стояли двое. Генерал и герцогиня. Палач и жертва. Мужчина и женщина, которые ещё сегодня утром не могли находиться в одной комнате без взаимного презрения или холодного молчания.

Мортен расстёгнул манжеты и закатал рукава до локтей. Его предплечья — жилистые, покрытые старыми шрамами, с выступающими венами — напряглись, когда он опёрся руками о край стола и ещё раз осмотрел рану. Теперь не как наблюдатель. Как тот, кто будет резать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.